

О новой точке зрения в русской критике

Наша литература, действительно, наше самобытное достояние, наше сокровище, наше чудо, наша истина.

Мы уже не слушаем больше с ученическим вниманием, что Виктор Гюго научил Достоевского состраданию, а Жорж Занд Тургенева нужной чувствительности, не говоря уже о том, что Пушкина нельзя больше сравнивать с Шиллером. Мы сравниваем Пушкина с Гете; мы уже смутно верим, что значение Достоевского (а может быть, и Толстого), воистину усвоенного, определяется значением Сократа или Канта; мы не сомневаемся, что прославленный во всем мире Гейне менее глубок, менее художествен, менее нужен, чем малолюбопытный еще для многих Тютчев. Мы знаем многое, чего не знает образованная, культурная Европа; не потому, что мы образованнее и культурнее, а потому, что силы и жажды образования, жажды культуры в нас больше, чем в ней. Она раньше нас, мы за ней, позже ее; ей снилось, у нас осуществляется, и как осуществляется!.. Мы еще 80 лет тому назад имели не литературу, а благородное упражнение убежденных любителей, — теперь мы спорим с теми, у кого мы учились. Мы зовем к себе на пир наших учителей, мы поднимаем за них заздравный кубок, гордые тем, что создали в их школе, благодарные за их школу, до сей норы и, во многих отношениях, на долгие времена единственную.

История нашей критики хорошо известна. Это — история молодой культуры, которая только теперь становится сознательна, а с тем вместе религиозна. Соединившись с общечеловеческой просвещенной жизнью в пушкинскую эпоху, в лице самого великого писателя, мы стали развиваться быстро и правильно. Мы свято поверили младенческим сердцем, что мир велик, прекрасен, еще непонятен, но по существу — разумен, гармоничен. Нас пленяла действительность. Мы стали заниматься естественными науками. Мы братски любили друг друга и хотели помочь тем, кого, казалось, так долго обижали. Мы рвались осуществить гармонию — устроить государство, общественную жизнь. Нам снился земной рай. Мы мало учились, мало знали. Творческий ум летел к созданию, прежде чем развелся, окреп. Казалось, что нужно осуществлять этот земной рай как можно скорей, во что бы то ни стало, что это самое наущенное, что давно пора, а то когда же?...

Наше сознание, разумеется, было выше нас, оно судило суровым судом или недоверчиво уединялось в себя; оно указывало общий путь, обнажало пути познания. Но кто же сознителен в юности, в отрочестве? А сознание само было еще и смутно, и не властно... Пушкин указывал прямой и ясный путь, Достоевский обнажал все безздны, но Толстой то указывал вслед за Пушкиным его путь, то силился обнажать безздны, и, наконец, нерешительно остановился. Это были все виды, формы, части нашего сознания, которое все же было выше нас — выше Белинского, Ап. Григорьева, Писарева... Теперь оно, бесспорно, выше Волынского.

Волынский борется за идеализм. Волынский измерил меркой идеализма русских критиков, измерил ею Лескова. Он полагает, что люди создали единственную мудрость — идеализм. И вот нашей литературе задается

вопрос: что ты представляешь собою с точки зрения этой мудрости? Что же? Не страшно ли нам? Выдержим ли мы испытание? Пушкин, Гоголь, Тютчев, Достоевский, Толстой и на эту мерку окажутся ли безмерными?

Новая точка зрения в нашей критике нужна, давно и насущно нужна. Была ли до сих пор какая-нибудь плодовитая? Ложно классических академиков — Мерзлякова или кн. Вяземского? чуждых литературы — Надеждина и Полевого? посредственных эстетиков сороковых годов? Белинского? Ап. Григорьева? или Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Михайловского? Да, достойная точка зрения в нашей критики насущно необходима.

Волынский полагает, что он ее нашел. Философический, довольно надменный, ядовитый редактор с учительской указкой сказал: «Вы буржуа, а я идеалист. Вы буржуа, вы судите о вашей литературе — буржуазно; Белинский, Добролюбов и прочие не знали идеалиста Канта — они не могли быть хорошими критиками; Лесков был идеалист, а вы его не понимали». «Идеализм или буржуазность? спросил критик и, не дождавшись ответа, ответил: — идеализм, а не буржуазность». И затем стал настойчиво писать о том, что все наше самосознанье — буржуазно. Это значит — *борьба за идеализм*.

Публика не любит Волынского. Критика даже презирает его: Волынский дал сражение Добролюбову, Писареву, самому Белинскому, — это не могло нравиться ни публике, ни критике; авторитеты 40—60-х годов еще не поколеблены... Волынский обнаружил пренебрежение к общественным задачам литературы, — это самый большой грех для либеральных сердец. Волынский в загоне... Между тем он выразитель самых основных движений интеллигентной толпы, может быть, и не интеллигентной, а всей живой массы, которая теперь живет, дышит, кипит и скучает на своих этажах, в своих клеточках, за письменным, за обеденным столом, на улице, в концерте!

Мы воображаем, что мы позитивны, материалистичны. Церковь учит нас, что мы рабы плоти, грешники против духа. Мы повторяем с ее голоса: «плоть немощна»... и «все мы слабы»... С такими словами обращалась церковь к чувственным римлянам; такие понятия владели людьми в средние века и были почтенным противовесом страшной грубости, свойственной диким европейцам того времени; эти понятия были подвергнуты жизненной, победоносной критике в Ренессансе,—у чувственных романских народов; тогда же получили они новое, узко-моральное, рассудочное утверждение у лютеран, позднее—у «действов». В то время у французов Декарт основал свой рационалистический идеализм.

Этими понятиями Европа жила не один век, эти понятия окружили школьников; как воздух, который сливаются с воздухом церкви, догматического идеализма, того идеализма, в основе которого лежало роковое сознание двойственности.

Говорят, что Петр внес в свою страну новое, европейское начало. Между тем, в коренном, метафизическом смысле, какую новизну мог представить идеалистический рационализм Европы для церковно-идеалистической России?

Этот церковный идеализм утвердился у нас, как известно, в монастырях — наших единственных университетах, школах, академиях литературы и искусства. Все наше просвещение от IX до XVIII века, вся наша умственная культура была церковнической, монастырской: аскетическая мораль, идеалистическая метафизика. Церковь вытеснила народное, вольное, жизненное творчество. Она охватила всю жизнь, постепенно распространяясь по всей широкой земле и проникая все глубже в народное сознание. Народная песня поддалась церковному влиянию, народное миросозерцание подчинилось церкви. Сознание нашего простонародья исполнено аскетизма, церковного идеализма. Эти два связаны; аскетическая мораль с такой неизбежностью вытекает из идеалистической метафизики, что можно заранее утверждать последнюю, где есть первая. Наш XVIII век стал рационалистическим; церковно-народное мировоззрение сдалось и начало постепенно забываться в столичных культурных умах; столичные умы естественно развивались заодно с Парижем. Однако, рядом с этим, в деревнях продолжали идти своим чередом старая жизнь, старое влияние; а между столицей и деревней были еще помещики, причастные и к новому влиянию, связанные и с старым. Это старое влияние надо полагать, и сказалось в Аксаковых и Киреевских.

Между тем Европа XVIII века (вскоре после Петровой реформы) испытала внутренние перевороты. Склонных всегда к явлениям, к опыту (эмпиризм, сенсуализм) англичан повлекло от пыльной, изнеженной культуры французов к естественности, к матери-природе. Прежде всего у них явился сентиментализм. Он, без сомнения, вырос на почве эмпирической, сенсуалистической мысли. Но в нем не было, конечно, ничего простодушно-естественного, дыхания первобытной стихии. Наоборот, в нем заключались все черты практического идеализма, который в романтическое время сделался только фантастичнее, жизненнее, а, наконец, и популярнее. Романтизм — это смешение многих струй: в нем и идеализм, и натурализм. Идеализм был, конечно, решительнее; он был усвоен ближайшим образом из Канта, но корни его развивались в церкви, в Платоне, в Декарте.

Романтический идеализм (идеализм — в просторечии) повторил еще раз дуалистические шаблоны о возвышенном небесном духе и надменной земной жизни (он имел склонность к средним векам, католицизму, Платону). Материалистическая струя того времени (любовь к природе, натуре, естеству) отождествилась в гетевом языческом пантеизме, синтетически объединилась в щеллинговом *тождестве*. Шеллинг был тесно связан с развитием естествознания; Гегель, продолжатель Шеллинга, исповедовал абсолютный идеализм; позитивисты 50—60 годов развились из Гегеля...

Так эти струи идеализма и струи материализма к XIX веку стремительно текли то чрезвычайно разъединенно, то синтетически соединяясь, то совершенно сливаюсь... Нам почти нельзя говорить об этом: мы в волнах океана, мы сами волны, струи. Ни в одном историческом движении не было никогда полной умственной односторонности... Идеализм влекся к опыту, к явлениям, материализм — к беспытным идеям. Можно ли определить, где начало этих струй, где исток океана?

Это мировой человеческий закон — эти колебания раздвоенного сознания, идеализм и материализм. Они колеблются в сторону друг друга; сознание стремится к единству; сознание не доверяет ни единству только духа, ни единству только материи.

Наш романтизм, славянофильство Ив. Киреевского и Хомякова, проповедовавшее церковный идеализм, было Кантианской школы; оно же было крепко привязано к преданиям нашей старины—византийско-московской, монастырского, аскетического духа, которым до сих пор проникнуто наше простонародье и мещанство в их мыслящих представителях сознательно, во всей массе — малосознательно. Современная публика, читающая газеты и книжки, посещающая театры, концерты и выставки, толпа — всегда идеалистична.

Другой, материалистический, дух реже встречается в массе. Сердце среднего человека не вынесло бы всей тягости действительного материализма. Могло бы казаться, что большая интеллигентная масса—либеральные умы—исповедует его. Но так ли? Правда, они были открыто привержены ему в 60-х—70-х годах, и теперь, с меньшим возбуждением, но еще с большей настойчивостью, хранят отцовские традиции. Но мы хорошо знаем, что в нашем либерализме — одно частичное видоизменение идеализма. Это идеализм несознательный, простодушно-непоследовательный. Это идеализм подростков, которые гордо отрекаются от дедовских заветов... Мы хорошо помним, что либералы-отцы много смеялись над метафизическими фантазиями, над искусством и религией, говорили, что есть одна материя, вещественность, существенность, одни естественные науки, а сами пренебрегали заботами об одежде, обеде и всем подобном, читали книжку за книжкою, жили в одних идеях, мечтали создать мужикам и рабочим земной рай, всех накормить, одеть, укрыть, для того, чтобы они могли жить, как они живут, т. е. читать книжки, изучать естество, материю, мечтать...

Волынский является выразителем романтического идеализма, который он с гордостью противополагает направлению положительной мысли. Его мысль еще столь наивна, что метафизическая несостоятельность позитивизма возбуждает его на борьбу. Волынский сливает позитивизм и буржуазию в одно представление и борется с буржуазией. Не смысящих в его идеализме или вообще в науки, простодушную толпу дельцов, ремесленников, довольных своей работой, нищих духом — он надменно называет буржуазией и борется с ними. В идейной борьбе презрение противоположного понятно.

Но тому, кто презирает буржуазное из презрения всего простодушненного, которое представляется ему скучным и утомительным призраком, тому должна быть объявлена решительная война: там начинается отрицание действительности, где кончается живое чувство ее. Где кончается это чувство, там мысли и искусству грозить академизм!.. Безжизненное ничего не может породить, кроме внежизненного, но и то, что отрешено от жизни, скоро теряет соки, корни высыхают — растение мертво.

Задав вопрос, Волынский не дождался ответа. Он стал писать и представил нам школьную мудрость, сухую и неглубокую.

Наша великая литература ждет своих истолкователей...